



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Алексей Николаевич Толстой

Без крыльев

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166589

ISBN 978-5-4467-0472-9

Аннотация

«Сотрудник одной из московских газет, Иван Петрович Бабушкин, сидя у письменного стола в свету недавно приобретенной шведского фасона рабочей лампы, покусывал и рассматривал ногти.

Желудок у Ивана Петровича находился в превосходном состоянии, авансы получены, статьи сданы. На земле и на небе все обстояло в высшей степени благополучно. И, что особенно важно, в этот час он был один, совершенно один в квартире: женщина, с которой он находился в близких отношениях, ушла ночевать и скандалить к подруге. Чего еще желать?»

Алексей Толстой

БЕЗ КРЫЛЬЕВ

(Из прошлого)

Сотрудник одной из московских газет, Иван Петрович Бабушкин, сидя у письменного стола в свету недавно приобретенной шведского фасона рабочей лампы, покусывал и рассматривал ногти.

Желудок у Ивана Петровича находился в превосходном состоянии, авансы получены, статьи сданы. На земле и на небе все обстояло в высшей степени благополучно. И, что особенно важно, в этот час он был один, совершенно один в квартире: женщина, с которой он находился в близких отношениях, ушла ночевать и скандалить к подруге. Чего еще желать? Никаких обязательств. Часы (в стиле ампир) пробили одиннадцать.

Не обладай Иван Петрович исключительной живостью натуры и любопытством – зевнуть бы сейчас с вывертом и завалиться под одеяло до позднего утра... А может быть – в кружок? Гм!

Счастливые мысли его были прерваны неожиданной возней в нижней квартире, где жил присяжный поверенный Притыкин. Два голоса, мужской и женский, давно уже там о

чем-то спорившие, внезапно возвысились. Началась возня. Было похоже, что передвигают и опрокидывают мебель. Затем по всему дому пронесся больной женский крик.

Иван Петрович, захватив со стола блокнот, поспешно вышел на лестницу, приостановился, послушал и сбежал этажом ниже.

В это время парадная дверь с медной доской «Присяжный поверенный Кузьма Сергеевич Притыкин» распахнулась, из нее вышла молодая женщина с бледным взволнованным лицом, с волосами, сбившимися набок; она открыла рот и глубоко вздохнула... Глаза ее, большие и точно стеклянные, должно быть, не видели ничего... Она с трудом двинулась за порог, но сзади появился маленький багровый человек без воротничка, схватил испуганную даму за плечи, втащил внутрь, ударил ее несколько раз сверху по шее, и дверь захлопнулась... Все это произошло молча, быстро, деловито.

Иван Петрович недаром был журналистом. Управляемый одним лишь профессиональным инстинктом, он нажал кнопку звонка и сейчас же принялся колотить в дверь.

Через минуту дверь опять приотворилась, в щели показалось лицо Притыкина, красное, пятнами. Иван Петрович ухватился за половинку, потянул ее на себя вместе с Притыкиным, потом навалился на него грудью, впихнул в освещенную прихожую и проговорил: «На одну секунду, крайне важно», на что присяжный поверенный, махнув кулаком, ответил неразборчиво.

Тогда Иван Петрович вытащил из бокового кармана все, что было: бумажник, газетные вырезки, фотографии и прочее, в этом мусоре (куда внимательно глядел Притыкин) нашел свою хроникерскую карточку и подал.

Притыкин прочел ее и прошел вместе с журналистом в кабинет.

Мебель здесь была опрокинута, ковер сбит, будто по комнате гонялся один человек за другим, один подставлял, а другой опрокидывал предметы. На письменном столе в луже чернил плавало пенсне. Иван Петрович все это быстро оглянул, оперся руками о стол и спросил с деловитой торопливостью:

– Причины?.

– Причины? – повторил Притыкин удивленно – Ах, да. Она лжет, она все скрывает!.. Я поставил условие... Да, единственное условие – ничего не скрывать... Я страдаю, я ее ненавижу! Я не знаю, с кем она меня обманывает... Это – распутная женщина... – Он возвысил голос. – Так вы и знайте... Я ее убью...

Притыкин схватился за нос, повернулся и пошел в соседнюю гостиную; Иван Петрович устремился за ним...

В гостиной на узеньком диване лежала молодая женщина в черном. Голова ее была закинута, рот стиснут.

– Обмороки, – сказал Притыкин, – не верю! У меня в доме, в моем доме, меня, меня – доводить до бешенства!.. И – обмороки... Вранье!

Он оборвал и, медленно повернувшись к Ивану Петровичу, уже с недоумением, словно первый раз увидел, принялся разглядывать его...

«Проснулся», – подумал журналист и бочком двинулся в прихожую.

– Вы кто такой? Вам что здесь нужно? – грозно вдруг и дико заговорил Притыкин, идя вслед. И уже в прихожей вдруг побагровел, затряс головой и кинулся. Но Иван Петрович выскочил на площадку и захлопнул дверь.

Постояв у запертой двери, Притыкин потер лоб и вернулся в гостиную. Все его мысли обрывались на полуслове. Это было мучительно: невозможность овладеть собой.

Жена все так же лежала на диване, лицо ее было повернуто к стене. Теперь она едва слышно стонала.

– Маша, – сказал Притыкин, – зачем ты стонешь? Что за нелепость! Вообще что за чушь! Ну, я готов попросить извинения. Хотя не знаю, безусловно не знаю, абсолютно не знаю, – в чем виноват... Ты меня извини, но синяки заживают, а вот что ты мне нанесла – это не заживет... Если так уж тебе это нужно – извиняюсь. Еще раз повторяю: если ты увлеклась, полюбила – я пойму, но чтобы я знал – с кем, и когда, и как... Тогда мое самолюбие не страдает... Я самолюбив... Такой родился... Принимай нас черненькими... Черт тебя возьми! Это жизнь называется? Ты перестала со мной разговаривать. Ежедневно – перекошенное лицо... Не беспокойся – заговоришь... Все равно я тебя никуда не отпущу.

Что же? Не отвечаешь? Долго будешь молчать? Уж не ты ли подослала этого нахала?

Притыкин, бегавший до этого по комнате с засунутыми в карманы руками, вдруг уставился в дверь.

Только сейчас он по-настоящему понял, что к нему в дом ворвался неслыханный нахал, выведал и записал все. «Бежать, поймать, убить, растоптать...» – подумал Притыкин и кинулся в кабинет. Но в дверях возникла новая идея: что это был не нахал, а любовник. И Притыкин заметался между двумя идеями, между гостиной и кабинетом. И, раздираемый надвое, завизжал:

– Это он! Ты с ним!.. Когда?.. Где?.. Сознаться... Нахал! Ворваться... Все узнать!.. Как его зовут?.. Зачем он приходил?.. Отвечай: он или не он?.. Он или не он?..

Так Притыкин выкрикивал, не успевая захватить заплетающимся языком изломы мыслей в распаленном мозгу.

Маша перестала даже стонать. Появления журналиста она почти не заметила, а визгливые крики мужа, неистовая его суетня и плеванье долетали точно издалека.

Все это началось со вчерашнего еще вечера. Маша уезжала танцевать, одна. Притыкин сказал ей: «Приезжай не позже часу, иначе будет плохо...» Маша вернулась в четыре утра. Парадная дверь была полуоткрыта. Не раздеваясь, она прошла в гостиную и зажгла свет. С дивана поднялся Притыкин, взял канделябр и бросил им в жену, но промахнулся. Затем последовали бешеный разговор, наскоки с кула-

ками, стояние на коленях, часы изнеможения. Три раза Притыкин оттаскивал Машу от двери, переломал почти все вещи в кабинете и, наконец, ударил жену, уже черт знает, в последнем каком-то исступлении. Наконец он до того развинтился, что единственной сознанный обидой было то, что его довели до такой развинченности. В изнеможении, расставив ноги, он крикнул: «Сейчас выброшусь в окно!» – и с треском затворился в кабинете.

Наконец Маша осталась одна. Приподнялась. Прислушалась. Соскользнула с дивана и побежала в прихожую. Туда выходила вторая кабинетная дверь; через нее слышно было, как Притыкин зазвенел ключами, отпирая ящик. Маша подумала: «Пять шагов до зеркала... схватить шляпу, два шага до двери... вытащить ключ, выскочить на площадку, сейчас же запереть дверь снаружи на замок...»

Вдруг она поняла, что все это шепчет вслух. Подумала: «Он слышал и стоит за дверью...» Действительно, кабинетная дверь тихо приоткрылась. Появился Притыкин, держа руки за спиной. «Револьвер, конечно...»

Подходя, глядя в глаза, Притыкин сказал с сумасшедшей улыбочкой:

– Было или не было? Было или не было?

– Я вам не изменяла, пустите меня, – прошептала Маша.

Тогда он быстро переложил что-то за спиной из правой руки в левую. Потянулся к Машиному платью, схватил ее за шейный вырез, – отскочили кнопки, раскрылась ее грудь,

до половины прикрытая батистом... (Он сам покупал эти рубашки жене, облюбовывал, мечтал об этих кружевцах.) Он сморщился, потянул из-за спины руку с револьвером. Маша быстро закрыла глаза. Когда ледяной точкой груди коснулось дуло, она подняла руки, но не было сил оттолкнуть мужа. Она почувствовала, как он силится что-то нажать в револьвере. Прошла секунда или ужасно много прошло секунд, – Маша их не считала... В это время забарабанили кулаками в парадную дверь, рванули, она раскрылась (она не была заперта), и в прихожую ввалились Иван Петрович, дворник и какие-то еще жильцы, – все они были в состоянии крайнего любопытства.

При появлении всех этих людей Притыкин швырнул револьвер, упал на стулик у зеркала и закрыл лицо руками. Во время суматохи Маша скрылась. Впоследствии выяснилось, что в револьвере не был поднят предохранитель.

Иван Петрович догнал Машу у церковной ограды, под густой от луны тенью вяза, раскинувшего ветви над переулком. Маша обернулась, услышав свое имя. Перья на ее шляпе вздрагивали, будто угрожали.

– Я хочу остаться одна, – сказала она глуховатым голосом.

– Милая, дорогая, я же – друг. Чего боитесь? Не узнаете разве? Это я ворвался к вам. Бабушкин, журналист.

Маша, видимо, узнала его. Ее дикие глаза смягчились. Она сказала:

– Я совсем не знаю Москвы... Скажите, в какой гостинице

я могла бы переночевать? Подешевле...

Иван Петрович объяснил, что в приличную гостиницу в такое позднее время без вещей и паспорта не пустят.

– Слушайте, да бросьте вы все эти условности, – воскликнул он в восторге. – Я давно об этом пишу и кричу: семья выродилась... Брак – это пошлость. Вы сами на себе только что испытали, какова это штучка-брак. Были бы у вас дети, тогда еще можно было потерпеть, и то – с натяжкой...

– Где же мне ночевать? На улице?

– Ах, да, ночевать? Черт, жалко, нельзя ко мне. У меня, видите ли, неудобно. Вы ничего не слыхали о моей связи?.. Чудная женщина. Ее, кстати, дома нет. Но – истеричка, ревнива, как черт, не расстается с пузырьком. Знаете, на пузырьке череп с костями?.. Куда бы вам деться?.. К Семену Семеновичу! Его вся Москва знает. Холостяк, чудак, писатель. Богатый человек. К нему можно просто позвонить и лечь спать. Но главное – чудак, мистик, в его идеях никто ничего не понимает. Замечательный мужчина.

Маша слушала, глядя в лунную пустоту переулка. Ее лицо, совсем еще юное, казалось сейчас очень красивым. Иван Петрович, продолжая тараторить, взял ее под руку и увлек через церковный двор, где на травке, в тишине, над влажными кустами, невысоко, поднимались пять усеянных звездами куполов. Маша взглянула на них, по-детски вздохнула.

– Кое-какие сведения о вашей жизни у меня имеются, но нужны подробности, детали, это очень важно, – говорил

Иван Петрович, поминутно заглядывая ей в лицо (тени под глазами, высокие дуги бровей, маленький рот с опущенными уголками и носик, тоненький, легкомысленный, как будто не принимающий никакого участия в ее тревогах). – Прямо и честно, как другу, скажите... вы обманывали мужа? Я, например, страшно бы приветствовал, если бы вы обманывали.

Маша покачала головой. Нелепые, какие-то провинциальные перья на ее шляпе угрожающе колыхнулись.

– Хотела. Но не могла, – ответила она, проглотив клубочек страдания. – Четыре года я живу с этим человеком... Сколько раз собиралась уходить, – вы даже не можете представить. Куда я пойду? Папа умер в прошлом году.

– Доктор Черепенников? В Сызрани?

– Да. А родные?.. Нет, уж лучше что угодно, – в Сызрань не вернусь...

– Бедная, милая, несчастная. Но все-таки как же это случилось? Побои, револьвер?..

Маша отвернулась, не ответила. Остальную часть пути прошли молча. Иван Петрович позвонил в подъезде одноэтажного дома, куда в темные, закругленные наверху окна лился лунный свет. На медной карточке на двери стояло: «Семен Семенович Кашин».

Поэт, философ, мистик, Семен Семенович Кашин обычно работал по ночам. Так же, как и Бальзак, он пил черный кофе. Его письменный стол был завален рукописями, бума-

гами, книгами в прекрасных переплетах, покрытых пылью. На подставке чернильницы лежали кипарисовые четки. Худая и белая рука его, слегка дрожащая от ударов сердца, вызванных большими порциями кофе и никотина, слабо держала тоненькую вставочку пера. И рука и перо казались почти уже невещественными.

В каждой эпохе есть свой пафос. Даже в застоявшиеся, покрытые ряскою времена, когда жизнь человеческая расплывается, как сальное пятно на бумаге, даже в эти скучные времена, в чаду мещанских очагов, в полуденной скуке, в мушной тишине слышится как бы трагическое звенение струны. Она все сильнее, все безнадежнее, все отчаяннее звучит в дремлющем мозгу и не дает уснуть и будит... Это пафос безвременья: смертная обреченность. Никуда не уйти от этого навязчивого звука. Ни дремотой, ни безумством не спастись: умрешь, исчезнешь... О, как бессмысленно, как страшно бытие!

Ночные потребители табаку и кофе, обладатели особенно отчетливого слуха, силятся отыскать систему этого трагического противоречия: родиться, чтобы умереть. Посиневшими губами они бормочут о бессмертии, то есть об оправдании жизни, стараясь отогнать, как назойливую осу, ту мысль, что только ужас от бессмысленности смерти пихает их, головой вперед, в головоломные формулы сверхсознания. Ледяными пальцами они перелистывают страницы, ища цитат и подтверждений, и, как во сне, им кажется, что курево от их

костра достигает неба и смерть побеждена. Но их рукописи, книги, покрытые пылью, альманахи и журналы – лишь животный долгий вопль ужаса.

В эту ночь Семен Семенович, как обычно, сидел в библиотечной комнате, погруженной в полумрак, и писал. Круг света падал только на листы рукописи, на его невещественные руки, освещал низ его длинного лица с золотистой бородкой. На столе, между книг, стоял большой кофейник, уже пустой и холодный, как труп. В чашке, в гуще, разлагались окурки. Глаза его были расширены и блестели. В эту ночь, отложив очередные статьи в журналы, он работал над «делом своей жизни» – драматической поэмой, которой его друзья ждали, как откровения. Он писал, зачеркивал и снова писал неровным, неразборчивым почерком:

Кунигунда. Тише, тише, ради пресвятой девы – тише...
(Пауза. Тишина. На древней башне часы бьют полночь. Снова тишина)

Барон Розенкрейц. Я слышу.

Кунигунда (с тихим ужасом). Что слышишь ты? (Проносится таинственное мгновение.)

Барон Розенкрейц. Я слышу... Как будто шаги я слышу» (Сжимаемая обеими руками меч, который вырисовывается крестом на его груди.) Да, я слышу шаги... Это приближается...

Кунигунда. О, как страшно... *(В это время...)*

В это время раздался резкий звонок на парадном. Семен Семенович, выронив перо, похолодел, оглянулся и глядел в полутьму комнаты, уставленной книжными полками, покуда не прошел испуг. Затем он пошел отворять.

– Так вот, милый человек, позаботься, чтоб постлали чистое белье, и главное – поскорее все устрой и поудобнее, – говорил Иван Петрович, входя вместе с Семен Семеновичем и Машей в библиотеку. Он еще в прихожей вкратце рассказал Машину историю. Семен Семенович нет-нет да принимался потирать руки, нервно покашливая. Появление в такой поздний час такой прекрасной дамы, видимо, потрясло его. В особенности казался странным миг ее появления. После слов Кунигунды должна была следовать ремарка: «В это время входит». И вошла Маша. Было от чего закружиться голове! Маша села на стул у книжного шкафа, опустив голову. Голые по локоть руки ее, лежавшие на коленях, казались беспомощными. И черное, черное платье!

– Я счастлив, что вы посетили мой дом, милости просим, – заговорил Семен Семенович, поблескивая глазами и словно танцуя, то подходя к ней на шаг, то отступая. – Я чувствовал ваше приближение. (Иван Петрович изумленно взглянул на него, потом, очевидно, понял, – махнул рукой.) Быть может, я давно жду вас в этой тишине... Вы не знаете меня, я не знаю вас. Тем лучше. Будьте откровенны. Скажите мне,

чужому и вместе тайно близкому, ваше затаенное, («Эх!» – не удержался, крикнул Иван Петрович.) Да, да, прекрасная женщина, таинственный гость, говорите, говорите о себе.

Маша подняла голову. Думала со сдвинутыми бровями. Иван Петрович, которого сверлило любопытство, подмигивал ей: говори, мол, валяй.

– Хорошо, – сказала Маша, – я расскажу. Это все произошло вот как. Меня выдали замуж семнадцать лет из последнего класса гимназии. А ему было сорок. Мне все говорили: муж – значит, навсегда. Взяли дурочку семнадцать лет и сунули в постель к чужому человеку: лежи, терпи, старайся, чтобы он к тебе не охладел. И божий и человеческий закон тебе это велят. Ну, вот так и жили. А честности во мне было больше, чем нужно. Сначала думала: буду мужу товарищем. Стала готовиться к экзаменам на юридические курсы. Он потерпел, потерпел и разразился: «У тебя, говорит, глаза от чтения стали мутные, и юбка в пуху, и чулки, как у курсистки, и вся ты неряха, на женщину не похожа». Что мне делать? Стала я наряжаться, конечно – увлеклась нарядами. (Маша пожала плечиком.) Опять – не так: для чего я деньги сорю, для одного мужа столько тряпок не требуется. «Для кого ты вырядилась?..» Поступила на кулинарные курсы. «От тебя, говорит, кухаркой воняет, луком». Все не так. Что ему нужно? Нужна ему заводная кукла, больше ничего, – постельное животное. Чего бы он ни захотел – все бы тотчас исполнялось. Вчера видел какую-то особенную даму, и

я должна немедленно стать такой же. А назавтра все по-другому. И все это так ужасно. (Губы ее задрожали, она низко опустила голову.) Все его фантазии – исполнять с самым веселым видом, потому что венчана навек. Однажды он говорит: «Пришел к заключению, что у тебя необыкновенно много овечьего. Хоть бы ты обольстила кого-нибудь. В женщине игра важна, изломы». И представилось мне тогда, что вся я – измятая, истерзанная, растоптанная. (Она вдруг совсем по-детски всплеснула руками.) Уйти было нужно, да, да, знаю. А куда я пойду, полуграмотная, ничего не знающая? К кому я пойду? В другую постель? Ведь только! В этот вечер сидел у нас знакомый. Муж уехал. «Ладно, думаю, сам меня толкаешь в эту яму». Начала флиртовать. Много ли нужно: оголи плечо да усмехнись чего ни на есть гнуснее. У него сразу глаза заблестели. Схватил, начал целовать. Оскорбительно мне стало. Знаете за кого? За мужа! Оттолкнула этого человека. Ночью сказала мужу: «Я тебе изменила». Он побледнел, едва не вывихнул мне руку. А когда узнал, в чем моя измена, начал хохотать: «Ты такая дурища очаровательная, что мне, ей-богу, совестно тебя даже обманывать». Вот тут-то у меня все и оторвалось. Рассказал он мне, растроганный глупостью, что изменяет мне чуть не каждый день. Слушаю – боже мой, все мои знакомые, мои подруги. Грязь! Отвращение! С этой ночи я его больше к себе не подпускала. Так он ничего и не понял. И тут-то началась ревность. Что он мне говорил! Как он насильничал! Боже милостивый!

Маша заплакала, не вытирая слез. Иван Петрович засопел носом. Семен Семенович забормотал что-то совсем уже непонятное. Позвали старуху прислугу, от которой удушливо пахло табаком. Отвели Машу в спальню Семена Семеновича. Сам он заявил, что в сне, вообще говоря, не нуждается, – и действительно, проводив Ивана Петровича, вернулся в библиотеку, сел к столу, уперся локтями в разбросанные листы драматической поэмы, схватился за редкие волосы и так просидел до рассвета.

Толчок сердца подбросил. Маша села, дико оглядывая незнакомую комнату, чужую постель, темную, без рамы, большую картину на стене: какие-то голые спины, чудовищные икры, копья, шлемы, старики в коронах, скалистый пейзаж. Сквозь щель полузадернутой шторы проникал серый свет утра. Там плюхало и лилось. «Дождь!» – сказала Маша и опять легла, словно крадя из того, что должно наступить, минутку тишины.

Надо же было, наконец, собраться с мыслями после вчерашнего. (Выплыло лицо мужа – искаженное, в пятнах Она замотала головой, сжала зубы.) Хорошо... Убежала из дома... С домом кончено навсегда... Ничего не жалко, даже новой шеншелевой шубки... Ладно, кончено... Ушла в одной юбчонке на улицу, и теперь – что же? (Маша опять села, поджала ноги, подперлась, глядела на никелевый шарик кровати; в нем отражалась вся комната в крошечном виде

и полуголая Маша в дневной рубашке.) Куда? На родину, в Сызрань? Представился пыльный город без единого дерева, с вонючими заборами. Летняя скука. Две Машиных тетки, похожих друг на друга, как две крысы, старые девы, живущие на пенсию. «Заедят, – подумала она. – Ну, а здесь, в Москве, куда?.. – Маша перебрала в уме всех друзей, знакомых. – Начнут жалеть, мирить, лезть с наставлениями. И не успокоятся – вернут к мужу. И больше всего будут хлопотать эти, с кем он спал.»

Думала она и так и этак, – только разболелась голова... Стало пусто и сравнительно спокойно: как-нибудь обойдется. В двадцать один год у женщины всегда хороший запас легкомыслия. Она соскочила с постели, взяла с кресла белье, стала натягивать чулки. Шелковый черный чулок в колене был изодран. Она просунула пальцы в дыру, нахмурилась. Потом быстро натянула чулки, оделась, причесалась, не глядя на зеркало, ополоснула лицо и, уже совсем готовая, приподняла юбку и опять посмотрела на разодранный чулок.

Он лопнул, когда, вырываясь от мужа, она упала в дверях. «Избить так, чтобы лопнули чулки, – это все-таки невероятно».

Теперь она заторопилась. «Вот только шляпка совсем неподходящая для новой жизни – проституточья какая-то. По вкусу мужа. (Снова – волна обиды и ненависти.) Куплю простенькую, с черной ленточкой. И платье это выброшу».

Полная самых лучших намерений, Маша вышла в кори-

дор. Сейчас же из боковой двери появился взъерошенный Семен Семенович. Он поплыл навстречу ей танцующей походкой.

– Вы – крылатая, вы – необычайная, – проговорил Семен Семенович. Ледяными пальцами схватил Машину руку, нагнулся, чтобы поцеловать, но как-то затоптался и еще раз встряхнул руку. Покрасневшие глаза его были как у сошедшего с ума кролика.

– Я должна вас поблагодарить, Семен Семенович...

– Ради бога. Только не эти условности. Вы – крылатая, я понял. Я не спал всю ночь. Казалось, будто весь дом полон вашего дыхания. Благоухания. (Шаг вперед и – шаг назад.) Это был сон в летнюю ночь. Капля с волшебного цветка упала на веки Титании. Она заснула, и мир преобразился. Мир стал волшебным. (Маша двинулась, он загородил ей дорогу.) Сжальтесь! Во мне воздвиглась за эту ночь совершенная красота. (Он так и сказал: воздвиглась.) Я знавал женщин. Каюсь. (Он привзвизгнул.) Но это было грубо, это было животное. Лишь в первый раз – сегодня. Вы не должны покидать меня. Вы еще сами не знаете, какие силы послали вас.

Видимо, Семен Семенович никак не мог (неврастения) добраться до сути дела, то есть потащить Машу на кровать, чего единственно ему и хотелось. Вместо этого он выкручивал такие мистические арабески, что разговор становился все более тягостным. Маша почувствовала раздражение.

– Мне нужно идти, – сказала она почти резко и двинулась по коридору.

– Пойдите! – крикнул он. – Здесь был только что Иван Петрович, оставил для вас пятьдесят рублей. Скажите, могу я надеяться, что вы...

– Хорошо. Благодарю вас, непременно. До свиданья.

На подъезде, когда захлопнулась, наконец, входная дверь, Маша с наслаждением вдохнула сырой утренний воздух. Несколько кленовых листьев лежало на асфальте. Она раскрыла зонт, обернулась – и увидела мужа. Притыкин подбежал бочком, руки его были засунуты в карманы мокрого пиджака. Маша вскрикнула, побежала. Шагом ехал извозчик. Она полезла в пролетку, повторяя: «Скорее, скорее, ради *бога*»..

Бойкий извозчик, покрикивая, уносил Машу в центр города. Высокая пролетка подпрыгивала на трамвайных путях, размашисто цокали подковы. Мимо летели особнячки, переулки, бульвары, пестрые вывески, озабоченные прохожие. Все многолюднее, все пестрее становился город. Испуганная Маша перестала оглядываться. Притыкин давно отстал в дикой погоне по переулкам. На Тверской извозчик приостановился и, обернув золотобородое наглое лицо, сказал, шикарно растягивая «а»;

– Каакие тааакие дела, нааасилу уехали. А я вас знаю, ба-рыня, постааянно катаю и Кузьму Сергеевича. Куда теперь

прикажете, в гааастиницу?

– Куда-нибудь, – сказала Маша, – может быть, знаете, где хорошие комнаты сдаются, но только не в гостиницу.

– Понимаю. Эй! Паади!

Похрапывая, задирая морду, вороной жеребец помчался к Тверской-Ямской.

– Что требуется, – сказал извозчик, останавливая жеребца у невзрачного старого дома в три этажа, – посмаатрите, я падажду.

На парадном была приклеена зеленая записочка, объявлявшая о сдаче комнаты. Румяный швейцар в галунном картузе значительно оглядел Машу и заявил, что сдается только для молодой одинокой. Маша поднялась во второй этаж. На лестнице – красный ковер, в открытом окне пела канарейка, грустя о никогда не виданных ею Азорских островах в лучезарном океане. Маше открыла тоненькая горничная с мешочками под синими глазами и высоко взбитыми волосами, вытравленными водородом. Она также внимательно оглядела Машу, впустила в переднюю, лениво проговорила:

– Подождите здесь, сейчас скажу баронессе.

За малиновой портьерой послышалось шушуканье, а затем:

– Молодая?

– Да, молодая.

Шурша шелком, появилась хозяйка-баронесса, очень пол-

ная низенькая женщина с большими бородавками на обсыпанном пудрой плоском лице. При виде Маши она широко улыбнулась, расплылась. Тогда и горничная с мешочками под глазами улыбнулась за ее спиной.

– Будем знакомы, очень, очень рада. Вас кто привез? Семен? – нараспев проговорила баронесса, беря Машу под руку и увлекая в крошечную гостиную с золоченой мебелью и розовыми портъерами. На диванчике, на ковре – повсюду разбросаны шелковые подушечки. Комната была как бонбоньерка, и странным в ней казался крепкий запах сигар.

Не выпуская Машинной руки, поглаживая ее, баронесса усадила Машу на диван. Сама приткнулась бочком, ноги ее не доставали до ковра.

– Ну, рассказывайте; душечка, что вы там натворили?

Тогда Маша по простоте рассказала все. Рассказ ее занял довольно много времени. Баронесса слушала очень внимательно, переспрашивала, вдавалась в подробности. Вытащив откуда-то из дивана платок, вытирала глаза:

– Ах, сколько таких несчастных! А ведь сам-то изменял, конечно, направо и налево. И ему как с гуся вода. Миленочек мой, знаете, я – друг женщин. Мой девиз – мстить, мстить мужчинам. Что такое мужчина? Кобель и кобель.

– Мстить, – проговорила Маша. – Как теперь жить – не знаю.

– Это вам-то, с вашей красотой! Да за вашей юбочкой мужиночки табуном будут ходить, милости выпрашивать

на коленях. Будь я на вашем месте – ах, ах, ах! Ну-ка, душечка моя, встаньте. Ну-ка, пройдитесь. Не робейте, не робейте.

Маша поднялась. Баронесса, едва достав ладонью до ладони, всплеснула пухлыми ручками:

– Ну просто потрясение! Какая фигура, какие формы! Европейский класс! И она не знает, как ей жить!

Баронесса сотряслась, захихикала, захрюкала, откинувшись, махая ладошками на Машу. Ходуном заходил золотой диванчик.

– Пси... пси... психологию... (Так выходило у нее сквозь смех.) Психологию только переменить нужно, да еще, покажите-ка... (Она живо приподняла Машину юбку, фыркнула ей в колени.) Да еще, конечно, бельецо. Панталончики на вас добродетельные, супружеские. Эти оковы нужно сбросить... Хмы, хмы, хи-хи...

Маша вырвала подол из ее рук, стояла красная, растерянная. Но не бежать же снова в дикую толчею города!

– Фыр, фыр, душечка, – сказала баронесса, – обижаются только индейские петухи, и то напрасно...

Она вся даже расплылась на диване, как блин добрый И словечки ее как блины: проглотишь – не обидишься.

– Перед вами, бутончик мой, роскошная жизнь. Бурные страсти, наслаждения всех видов, рестораны, обожатели. Мизинчиком поведете, и к таким ножкам бросят сокровища. А ведь вам кажется – ушли от пошляка мужа, и дверь за вами хлоп, и вам теперь остается на машинке писать или про-

давщицей к Мюру-Мерилизу. Сознайтесь: так и думаете?

– Да, – тихо сказала Маша.

– Ах, цыпленочек! – Она привлекла Машу. – Крылышками, крылышками нужно взмахнуть. Жизнь – это полная чаша самого жгучего счастья.

Одним словом, баронесса развертывала роскошные перспективы. И несчастная Маша, настрадавшись, тянулась к ним, как стебель. Рассудок пытался возмутиться – и не возмущался. Что могло удержать ее кинуться к блеску, к беспечности? Пресные наставления сызранских теток, рабовладельческая воля мужа, страх перед тем, что скажут люди? Боже мой, ничто не удерживает! Боже мой, но должны же быть какие-то... Что «какие-то»? Цепи, да? Женщина без цепей – проститутка? Почему? А если не хочу назад, в унижение, в мрак?..

Маша заметалась по бонбоньерочной гостиной, хрустя пальцами. Любопытно было взглянуть со стороны, чего стоили моральные законы. Тысячи лет трудились над ними человечество; казалось, крепче обручей не набьешь на человека – по рукам и ногам окован священными формулами. Но что же случилось? Подмигнули человеку и поманили-то пустячками, не каким-нибудь богоборческим бунтом, и человек-то маленький, не Прометей-дерзатель, а робкая женщина, почти ребенок. И, – гляди, моралист, – лопаются, валяются с беззвучным грохотом тысячелетние цепи. И – гол, наг стоит человек.

Разумеется, Маша расплакалась среди шелковых подушек. Змий глядел на нее премудрым глазом с золоченого диванчика. Потом повел ее в чистенькую комнатку с большой постелью и веселенькими обоями, помог снять шляпу. Баронесса не говорила, а пела:

– Отдыхайте, душонок, главное – оставьте всякие заботы, чтобы личико было свежее. – Она сочно поцеловала Машу и укатилась из комнаты.

Маша поглядела в окно – дождь, мокрые деревья, мокрые прохожие. «Боже мой, боже мой!» – И Маша легла на кровать. За стеной на кухне стучали ножом. Баронессин голос повторял: «Сыру, сыру натри, заколеруешь и сыром, сыром ее посыпь...» Маше было приятно лежать оторванной от жизни, не шевелиться и неустанно думать, что она – вот уже и падшая женщина.

– Семен Семенович, вас спрашивают, – сказала старуха-трубокур, и сейчас же в библиотеку вошел Кузьма Сергеевич Притыкин. Он был в перчатках, держал в руке шляпу и трость. Прищуренные глаза его смотрели выше лба Семена Семеновича, поднявшегося со смятением навстречу нежданному гостю. Притыкин резко отрекомендовался, сел, держа трость и шляпу между колен.

– У вас ночевала моя жена! – сказал он повышенным голосом.

– Я не знаю... Я не понимаю... Что, собственно, вы... На

каком основании... Если хотите, то... – Семен Семенович усиленно затанцевал: шаг вперед и шаг назад, в двух вытянутых пальцах дымящаяся папироса. Притыкин поднялся, Семен Семенович отступил. И так они достигли стола. Раздув ноздри, Притыкин спросил змеиным шипением:

– Вы ее любовник?

Тогда Семен Семенович уронил книгу, толстый том: «Столп и утверждение истины» священника Флоренского. Пробормотав что-то вроде извинения, кинулся ее поднимать и очутился между креслом и столом, в сущности – под столом, в том месте, где стояла корзина для бумаг. Что он мог ответить оттуда разъяренному мужу? «Нет, я не любовник», – но это было бы ложью, так как мистически он был ее любовником со вчерашней ночи. Ответить: «Да», – также ложь, так как Кузьма Сергеевич несомненно понял бы это в прямом, животном смысле. Наконец, ответить: «Да, но только мистически», – было слишком затруднительно из-под стола. Поэтому Семен Семенович молча глядел на Притыкина. Положение Притыкина было тоже не из легких: не тащить же ему Семена Семеновича за ногу. Надувшись пятнами, он потряс тростью и шляпой:

– Ты мне ответишь!.. (Семен Семенович моргнул.) Я не позволю издеваться над собой! – вот все, что он мог произнести, и выбежал из библиотеки...

– Первое правило, – сказала баронесса, подавая Маше

шелковые чулки, – это держать ноги в порядке. На рубашке дырка – полбеда. Чулки же должны быть – как кожа на лице: свеженькие. А у вас – на что это похоже! (Она рассматривала все тот же проклятый чулок, лопнувший на колене.) Увидят, подумают, что вы вся такая неряха.

Маша, облокотившись перед туалетным зеркалом, смиренно слушала баронессу. Был уже вечер. В сумерках баронесса разбудила Машу, накормила обедом, увела к себе в спальню и, показывая платья и драгоценности, учила практике жизни. На все у нее был скорый ответ, будто вся житейская мудрость находилась в ее лакированной сумочке: покопается и вытащит нужное.

Маша так и смотрела на нее, как на чудо, разрешающее в двух словах все трудности. Над трудностями баронесса смеялась:

– Брак? Я не против брака, если муж глуп, муж богат и доверчив. Но если с первого же дня вы не сели верхом на муженька – прочь брачные узы! Предрассудки, мнение общества – этим вас, глупеньких, и вяжут. Тьфу! – вот я на вашу мораль. И, видите, чувствую себя неплохо. Важно только иметь сердечные отношения с полицией. А муж взял верх – тут вас брачное болото и засосало. Очутитесь вы у кухонной плиты. Очутитесь с иголкой в руках за починкой мужниных кальсон. Ах, скольких я спасла от этой каторги!

Маша натянула прекрасные шелковые чулки. Облокотясь между двух свечей, глядела на себя в зеркало. Баронесса ляз-

гала щипцами, причесывая наверх, пышно, ее волосы.

«Превращаюсь в кокоточку, – думала Маша, – пока еще не страшно... (Она никогда не видала себя такой чудесно красивой: грустная, бледная, с огромными глазами.) А вправду – хорошенькая женщина. И это все пропадает».

– Ну просто для коронованных особ такая головка, – прошептала баронесса и поцеловала Машу в шею. Притянутая в зеркале ее глазами, Маша похолодела.

– Уж я-то вас в обиду не дам, – шептала за ухом баронесса, – в лепешку расшибусь... Сегодня, например, должен ко мне зайти один...

– Нет! Нет, я не могу сегодня!

– А не надо пугаться. Неволить никто не станет. Посмотрите и решите.

– Кого посмотреть? Что вы задумали?

– Должен, я говорю, – голос у баронессы окреп, – зайти ко мне хороший знакомый, вполне семейный и порядочный человек. Но – что поделаешь? – впечатлительный на женскую красоту. Запомните: у меня аристократический дом, и бываю у меня только почтенные и спокойные люди. По дружбе доставляю им маленькие радости. Хи-хи, ху-ху! Туг пугаться нечего!

Баронесса опять пустилась в рассуждения. Но позвонили на парадном, и она, торопливо взбив челочку и просияв всеми бородавками, убежала на коротких ножках.

Маша, вытянувшись, слушала звуки открываемой двери,

в отдалении голоса... «Бежать, – подумала, – сейчас бежать!...» Но не могла пошевелиться, словно под тяжестью не своей воли.

– Не бойтесь, котенок, ведь мы же все здесь светские люди... – Баронессина пухлая ручка отогнула розовый занавес. Маша вошла в гостиную. На диванчике (перед столиком с ликером и фруктами) сидел тот, чьего лица она не увидела. Свет лампы падал на конец его штанины, на шелковый натянутый носок и лакированную туфлю. Баронесса плотно держала Машу за талию. При ее появлении нога в носке и туфле исчезла, и перед Машей не спеша поднялся высокий грузный человек. Баронесса представила его: «Мой друг Базиль». Он взял горячей большой рукой Машину руку и сочно поцеловал, защекодав усами.

– Очень приятно познакомиться, – проговорил он бойким теноровым голосом с московским, почти что лихаческим говорком.

Маша подошла к вазе, оторвала длинную виноградинку, села на диван и, как всегда, кротко сложила руки на коленях. И оттого, что сделала это, как всегда, подумала поспешно: «Нельзя, нет, ужасно... – Протянула правую руку вдоль дивана и опять подумала: – Нет, так тоже нельзя». Лицо ее начало заливаться краской.

– Неприятная погода, сыро, – вы не находите? – сказал Базиль.

Баронесса хихикнула и исчезла за занавесом. Базиль налил две рюмочки ликеру:

– Говорят, бенедиктин хорошо пить в такую погоду, – вы не находите?

Как во сне Маша взяла рюмочку, отхлебнула сладкого огня. Только теперь заметила, что виноградину она все еще держала в руке. Положила ее в рот.

– На скачках часто бываете? – спросил Базиль. Маша – коротко:

– Нет.

– Приятное развлечение, – вы не находите? Хотя я в последнее время склоняюсь к автомобилю. У нас в торговом деле без автомобиля никак нельзя. На прошлой неделе кобылу купил, Чародейку, – слышали, я так полагаю. Так я на ней заехал... Желаете взглянуть? Она у подъезда.

Бух, бух Машино сердце. Не ответила, только опустила голову. Базиль подливал бенедиктинчик.

– А то бы прокатились. Не откажите. По такой погоде хорошо бутылку шампанского раздавить. Вы не находите?

Затрещав диванчиком, он повернулся к Маше. Она почувствовала запах сигар, дорогого вина, дорогих духов. Увидела пикейный жилет, из его карманчика углом торчала сторублевка.

– Кроме шуток, чем здесь скучать... Экипаж у меня с верхом, если вы сомневаетесь.

Он взял Машину руку. Тогда она опустила, наконец, вы-

соко поднятые плечи. От его прикосновения ползла к сердцу гадливость.

– Поедемте, – вдруг сказала Маша, вставая.

Базиль сгреб Машу за талию, тесно прижал. Чародейка летела, как ветер, искры сыпались из-под подков. Необъятный зад кучера с самосветящимися часами на кушаке застилал видный из-под верха коляски кусочек мокрого ночного неба. В самое Машино ухо, щекоча бенедиктиновой бородой, Базиль говорил тенорком бесстыдные вещи. Теперь уже от всего его огромного тела ползла гадливость, заливала Машу доверху. «Так нужно, так нужно», – упрямо повторяла она, как будто страшась, что если не выдержит этого испытания, то ни на что уже больше не годна и захлопнется перед ее носом дверь в обещанные роскошные перспективы. Отворачиваясь, жмурилась изо всей силы, глотала комочек тоски.

Видя, что женщина как-то странно топорщится, Базиль пустился распалять ее воображение, описывая в ярких красках свой темперамент и многочисленные любовные случаи. В увлечении он даже подвыл стишок Бальмонта: «Спущены тяжелые драпри, из угла нам светят канделябры...» и так далее. Говоря, что он задушит Машу «извивами сладострастия» в своей холостой квартире, которая будто бы утопает в туберозах, Базиль навалился, зарылся, как в едово, в Машин рот. Столб белого света от автомобильного фонаря ударил под верх коляски. Только сейчас Маша увидела, нако-

нец, его лицо: пучеглазый, румяный, с козлиной бородой и кучерскими волосами, с пухлым, как присосок, ртом.

– Ужасный какой! – выбиваясь, отчаянно крикнула она, ужом выскользнула из облагавших рук, соскочила; упала. Автомобильные гудки заглушили ее крик. Произошло замешательство, столкнулись пролетки, поднялась на дыбы лошадь, побежали люди. Но Маша поднялась и исчезла между экипажами. Это было на Страстной площади.

По грязце, под призрачным светом высоких фонарей, на Тверской прогуливались искатели недорогих приключений, заглядывая под шляпы бледным от ночной сырости девушкам. Выбор был хоть куда. От Садовой-Триумфальной до Газетного переулка шла эта «плотва». Сбивали цены. Торговались на перекрестках. Только и слышно было: «Брюнет, вам не скучно?» – «Дорого, иди к черту».

Маша кралась вдоль стены. Такой она никогда не видала улицы. На каждом лице гримаса ужаса. Машу несколько раз подхватывали, хватали сзади, цапали пальцами, душили пивным облаком. Она вырывалась, и снова впереди поток мокрых фуражек с кокардами, закрученные усы, егозливые бородки и шляпки, шляпки – с перьями, с бантами, с тряпичными розами. Розы на вырезе груди, розы на животе. Грязные капли с крыши. Все опоганено. Хрипят пригнувшиеся с козел лихачи. Визг скрипок из раскрытого окна ресторана.

Только чтобы посидеть немного, не упасть здесь же на

тротуаре, Маша зашла к Филиппову. Здесь она часто бывала днем, в свежих перчатках – строгая дама – покупала булочки. Сейчас булочная закрыта. За столиками кафе шумела та же ночная улица.

Маша, сидевшая перед стаканом чаю, должно быть, казалась очень смешной соседям по столикам. Указывая на ее мокрые перья, на грязную юбку, покатывались какие-то толстоморденькие девицы, хихикал с ними чиновник с смертно бледным лицом и усами в стрелку. Маша знала, что смешна и несчастна, но еще сильнее была усталость, и она сидела не шевелясь, покуда не закрыли кафе. Лакей потянул из-под нее стул. «На улицу, на улицу, барышня, закрываемся».

Когда она встала и ушла, неподалеку от нее поднялся костлявый человек в клетчатом пальто и пошел следом. Она заметила его краем глаза и забыла. Эта ночь была как сон, ничто не могло больше испугать ее, удивить. Она давно уже проглотила давешний комочек слез. Тоска *бабья*, панельная, гудела во всем теле. Маша побрела с Тверской по Леонтьевскому на Арбат, свернула в переулочки. Там спохватилась, что идет домой, и повернула назад, на трамвайные рельсы. Став, глядела в сторону дома, в дождливую тьму ночи. Все лицо ее сморщилось, показались острые зубки, она подняла кулачишко, погрозила.

Следом за ней, не отставая, шел незнакомец в клетчатом пальто. Когда она останавливалась, он отходил к стене дома, – руки за спиной, кепка надвинута на глаза. На Плющихе

он подошел и сказал спокойно:

– Ну, а теперь куда?

Маша взглянула, махнула рукой, пошла дальше. Он не отставал, – за ней. Потом опять заговорил:

– Никак не могу понять, кто вы такая?

– Убирайтесь, – проворчала Маша.

– Целый час у Филиппова глядел на ваше лицо, – сы плакали и не замечали слез. Брошенная? Нет. Проститутка? Пожалуй, что нет, не совсем. Одно время думал, вы к реке пойдете. Нет. Странно! Ну, а здесь, на Плющихе, какого вам черта нужно? Вы ведь без цели идете.

– Откуда вы знаете? Что вам нужно? Оставьте меня в покое, – проговорила она, закинув голову, глубоко вдохнула сырую мглу ночи. – Больше не могу. Устала.

Она пошатнулась. Незнакомец поддержал ее. Мимо плелся извозчик, из ночных, – старичок на древней лошади. Он долго не мог понять адреса; жалуясь на овес, на сено, на пожар в деревне, торговался. Незнакомец посадил Машу в рваную пролетку. Поехали по булыжной пустынной улице. Маша отклонилась в угол пролетки. Кивала ее нелепая шляпа, кивали мокрые перья. Незнакомец задрал ногу на ногу, невесело посвистывал что-то нерусское. Должно быть, третий был калач.

– Зайдемте...

– Не хочу.

– Бросьте. Вы – бездомная, я – одинокий, как черт. По-

желаете – обижу, не пожелаете – не обижу. Чаю выпьем. По-спите.

Маша молча слезла с извозчика. Вошли в пустую прихожую (здесь незнакомец снял калоши), оттуда в низкую затхлую комнату, освещенную через окно уличным фонарем. Этот мертвенный свет был до того неприятен, что незнакомец сейчас же опустил шторы. Зажег керосиновую лампу. Маша увидела железную неряшливую кровать, у другой стены просиженную оттоманку, стол с холодным самоваром и остатками еды, и в углу – горку разноцветных жестянок.

– С голоду здесь не умрем, – скосоротился незнакомец, указывая на жестянки, – борщ с мясом, битки в томате и беф-брезе... Лучшего качества, вполне заменяют... и так далее... для экономных хозяек. Сволочь, конечно, страшная... Я уж целый год не ем мяса: с тех пор как занялся распространением этой тухлятины.

Он бросил клетчатое пальто на кровать, видимо несколько сконфуженный неряшеством в комнате. Предложил Маше диван. Она сняла шляпу, села, подобрал ноги. Закрыла глаза. Будто издалека, из-под воды, слышала, как агент по распространению мясных консервов разжигал примус, по-свистывал. Должно быть, Маша заснула, но очень ненадолго, – вздрогнула, как подброшенная током. Агент сидел у стола, мешал ложечкой в стакане, – тоскливо, одиноко звенела ложечка. Лампа освещала четырехугольный его подбородок, плотно сжатый рот, рыжие брови.

– Скучно, – сказал он и, подняв глаза (умные, старые, одинокие), стал глядеть на Машу. – Скучно. Непривлекательный человек, неудачник, денег мало. Вот и скучно. Иногда думаю: для каких-нибудь больших дел, может быть, я и пригодился бы. Нет, не для торговых. Для больших авантур с убийствами, погонями, маскарадами. Кровь, золото, игра. Спросите эту кровать, что на ней было продумано. Будь я писателем – наверно бы прославился, А на практике продаю гнилое мясо. Почему? Голову можно разбить о подоконник: почему я ни к черту не гожусь? Читал историю французской революции. Ну, конечно, я – Робеспьер, я – Дантон, Марат... Там бы я развернулся. Несомненно во мне гниет великий бунтовщик. Бунт против всего. Бунт – стихия. Бунт – праздник. Несомненно вы предполагаете, что я – просто истаскавшийся парень, мелкое жулье, хвостун. Разуверить можно действием. Не словами. Вот, например, если бы я в таком эдаком половом иступлении полоснул вас кухонным ножом по горлу?.. А? Ведь всякие людишки бывают. Или отправить ваш труп в корзине в Харьков, до востребования?.. Кхэ!

Маша, не двигаясь, глядела на него с дивана. Агент говорил вполголоса, весь подался вперед, в общем был спокоен, только ноздри его, широкие и дряблые, вздрагивали – из-за чертова ли самолюбия, или действительно в ноздри ему потянуло запахом преступления.

Он говорил – тихо, не торопясь – вещи похуже, чем Базиль в пролетке, и сейчас же вывертывался, хотя его и никто

не прижимал, никто не интересовался – великий он человек или вошь. Вознесясь, унижался; рассказывал, как однажды в одиночестве, на этой постели, больной, он целые сутки просил пить: «Питики, питики, – просил я слабым голосом...» Или – как ночью, сидя в подштанниках, кушал яичко, лупя его на ладони.

Когда он дошел до этого лупленного яичка, Машу вдруг охватила такая злоба, что застучали зубы.

– Вы пошляк, – сказала она, – негодяй, нашли над кем измываться... Трус!

Агент поднял большие руки к плешивой голове, с трудом оторвался от стула и заходил по комнате, забросанной окурками. «Этот не зарежет», – подумала Маша.

– Боже, как я одинок, боже, как я ужасно одинок, – проговорил он раздирающе тихим и вместе театральным голосом. После этого он и Маша замолчали. Он ходил, она прилегла щекой на сложенные ладони. Штора серела, голубела. И вот на ней появилась тень переплета рамы. Встало солнце. Под окном прошли голоса. Начинался скучный день. Маша поднялась, одернула платье и пошла к двери.

– Куда? Оставайтесь! – у него задрожало лицо. – Куда вам к черту одной на улицу... Неужели не найдется у вас хоть капля ласки?

Маша толкнула его от двери и ушла. Слышала, как он завыл, потом загремело, покатилося что-то по комнате, – должно быть, жестянки с консервами.

Подъезд дома был уже открыт. Швейцар, подметавший веничком парадное, молча внимательно поглядел на Машу. Она побежала по лестнице. Провела пальцем по начищенной доске: «Присяжный поверенный Притыкин». Позвонила без колебания. В квартире было тихо. У Маши страшно стучало сердце. Но вот слышно: скрипнула дверь (кабинетная, значит – он, он не спит, не ложился). Загремела цепочка. О, как там чисто, уютно! Повернулся ключ. Дверь открыл Притыкин. Глаза его прыгнули. Маша сейчас же вошла. Здесь, в прихожей, они взглянули друг на друга в глаза – Маша и Притыкин. Измерили друг друга в глубину. И тут должно было решиться все. Не муж и жена – два человека кинулись друг к другу, увлекаемые страданием. И казалось, уже глаза Притыкина дрогнули, и глаза Маши застлала пелена слез, которые должны же были пролиться когда-нибудь в облегчающем изобилии. Но черт его знает, отчего: от дурного ли характера, от слишком перестрадавшего самолюбия, от последней истерики, – но только он отступил, рот его перекоксился:

– Таскалась... Тварь!

– Да, тварь! – звеняще сказала Маша и сейчас же прошла в кабинет. Там, – она так и думала, так и знала, – налево от чернильницы лежал револьвер. Она схватила его и поднесла к груди. Сейчас же сзади наскочил Притыкин, схватил ее за руку. Маша повернулась. Началась борьба. Толкаясь ко-

лениями, они старались вырвать друг у друга револьвер. Она зажмурилась. Обогнув круглый стол с журналами, они снова оказались в прихожей, на том же месте, так же схватив друг, друга, как это было позавчера, в одиннадцать часов вечера... Могло представиться, что этих полутора суток совсем и не было, будто все, что случилось за это время, – лишь пронеслось в одну какую-то секунду в воображении.

Притыкин ухватил, наконец, ее левую руку и, сжав, закрутил. Маша застонала. Он уперся коленом ей в живот и дернул револьвер. Тогда огнем обожгло им пальцы, выстрел был слаб. Притыкин громко икнул, отпустил руки и стал валиться на Машу. Она схватила его за плечи, не удержала. Он всею тяжестью мертвого тела упал ей в ноги на малиновый бобр. Для второго выстрела – в себя – у Маши не хватило сил.